

ГЕРОЙ ТРУДА

(Записи о Валерии Брюсове)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЭТ

И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу.

Бальмонт

I

⟨ПОЭТ⟩

Стихи Брюсова я любила с 16 л⟨ет⟩ по 17 л⟨ет⟩ — страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до тла лишен — песню, песенное начало. Больше же стихов его — и эта любовь живет и поныне — его «Огненного Ангела», тогда — и в замысле и в исполнении, нынче только в замысле и в воспоминании, «Огненного Ангела» — в неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16-ти лет, меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово «интересный», рыночное и расценочное, немислимое ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер — и такой промах! Да, ибо мастерство — не всё. Нужен слух. Его не было у Брюсова.

Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений — антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17-летней: «В вас больше реки, чем берегов, в нем — берегов, чем реки». Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий

и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит — вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За́-городом набережная теряет власть. Так, не предотвратил ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей последней и жесточайшей ревности — небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания.

Вслушиваясь в неумолчное слово Гёте: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister»¹ — слово, направленное на преодоление в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как колыбель, преодоленной быть должествующей), нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе *границы* никому не дано. Брюсов был бы мастером в гётевском смысле слова только, если бы преодолел в себе природную границу, раздвинул, а может быть, и — разбил себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался *invulnérable*² (во всем объеме непереводаемо), вне лирического потока. Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон.

(Гётевское слово — охрана от демонов: может быть, самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.)

Брюсов был римлянином. Только в таком подходе — разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, — вспомните раненую Афродиту!

¹ Мастер сказывается прежде всего в ограничении (*нем.*).

² Непроницаем (*фр.*).

молящую Фетиду! омраченного — неминуемой гибелью Ахилла — Зевеса. Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс.

Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного лягания Брюсова. Брюсов не был *quantité négligeable*¹, еще меньше *gualité*². По рождению русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это — в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли?) наглухо, забронирован без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский — достоверно, поэт — достоверно тоже: в пределах воли человеческой — поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но — слепые какие-то, с полной немыслимостью в них жизни. Казенные (и, уже лирически), *казенные*. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого — тупик.

Брюсов: поэт входов без выходов.

Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? (Гётевское: «*Verweile doch! du bist so schön!*»³) Было ли у тебя хоть раз чувство оборванности (вел и бросил!), разверзлась ли хоть раз на неучтимость сердечного обмирания за строками — страна, куда стихи только ход: в самой дальней дали — на самую дальнюю

¹ Незначительная величина (*фр.*).

² Качество (*фр.*).

³ Остановись! Ты так прекрасно! (*нем.*)

даль — распахнутые врата. Душу, как Музыка, срывает тебе Брюсов? («Всё? Уже?») Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову: «Уже? Еще!»? Выходил ли ты хоть раз из этой встречи — неудовлетворенным?

Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает всё и ровно то, что обещал, из его книги выходишь, как из выгодной сделки (показательно: с другими поэтами — книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: ты ушел, книга — осталась) — и, если чего-нибудь не хватает, то именно — неудовлетворенности.

Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное «конец». Брюсов, для цельности, должен был бы проставлять его и графически (типографически).

Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд — лестно, на второй — грустно. Творец, это все завтрашние творения, всё Будущее, вся неизбежность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое — неучтисное — в неучтисности своей непобедимое: завтрашний день.

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тогда — конец — Вам.

И — странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем меньше оно по сравнению с творцом (Гёте). Откуда мы знаем Гёте? По Фаусту. Кто же нам сказал, что Гёте — больше Фауста? Сам Фауст — совершенством своим.

Возьмем подобие:

— «Как велик Бог, создавший такое солнце!» И, забывая о солнце, ребенок думает о Боге. Творение, совершенством своим, отводит нас к творцу. Что же солнце, как не повод к Богу? Что же Фауст, как не повод к Гёте?

Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится — Там. Где Гёте ставит точку — там только и начинается! Первая примета совершенности творения (абсолюта) — возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше — чего? — предшествующего «выше», а это уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака — и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила совершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно бóльшее Гёте, как Гёте — Фауста, вот что делает и Гёте и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность восприятия нами высоты — непрерывное перемещение по вертикали точек измерения ее. Единственная возможность на земле величия — дать чувство высоты над собственной головой.

— «Но Гёте умер, Фауст остался!»! А нет ли у тебя, читатель, чувства, что где-то — в герцогстве несравненно просторнейшем Веймарского — совершается — третья часть?

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! обещание, на котором вся поэзия — и нечто высшее поэзии — держится: чуда над тобой и, посему, твоего над другими — этого обещания нет ни в одной строке Брюсова:

Быть может, всё в жизни лишь средство
Для ярких певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!

Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя «брюсовским Институтом Поэзии».

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел — и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова: все, что я смог. И бóльшее, вообще, невозможно.

Как малого же он хотел, если столько смог!

Знать свои возможности — знать свои невозможности. (Возможность без невозможностей — всемогущество.) Пушкин не знал своих возможностей, Брюсов — свои невозможности — знал. Пушкин писал на авось (при наичернейших черновиках — элемент чуда), Брюсов — наверняка (статут, Институт).

Волей чуда — весь Пушкин. Чудо воли — весь Брюсов. Меньшего не могу (Пушкин. Всемогущество).

Большого не могу (Брюсов. Возможности).

Раз сегодня не смог, завтра смогу (Пушкин. Чудо).

Раз сегодня не смог, никогда не смогу (Брюсов. Воля).

Но сегодня он — всегда мог.

Дописанные Брюсовым «Египетские ночи». С годными или негодными средствами покушение — что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, всей природой своей, тайне, он не чтит и не чувствует ее в неоконченности творения. Не довелось Пушкину — доведу (до конца) я.

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать.

Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию — покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные — рождение), он им стал. Преодоление невозможного. Kraftspröbe¹. А избрание сáмого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии?) — не что иное, как единственный выход силы: самоборство.

И, уточняя: Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия как поприще для самоборения.

Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, — человек, волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто.

Вперед, мечта, мой верный вол!

О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив — до дна, то именно в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол — что это, труд поэта? нет, мечта его! Вдохновение + воловий труд, вот поэт, воловий труд + воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия.

У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты — волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Сологуба — говорю лишь о поэтах его поколения (почему выпадает Белый?) — кто бы, в какой час последнего изнеможения, произнес это «мечта —

¹ Проба сил (нем.).

вол»? Если бы вместо мечты — воля, стих был бы формулой.

Поэт воли. Действие воли, пусть кратко, в данный час беспредельно. Воля от мира сего, вся здесь, вся сейчас. Кто так властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Бальмонт? К нему влеклись. Блок? Им болели. Вячеслав? Ему внимали. Сологуб? О нем гадали. И всех — заслушивались. Брюсова же — слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях на пирах молодой поэзии — Жуана. Вино оледенело в стаканах. Под дланью Брюсова гнулись, не любя, и иго его было тяжко. «Маг», «Чародей», — ни о зачаровывающем Бальмонте, ни о магическом Блоке, ни о рожденном чернокнижнике — Вячеславе, ни о ненашем Сологубе, — только о Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская и нерусские: воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чудесная в тридевятом царстве, где, как во сне, всё возможно. Всё, кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое царство Души — Россия — польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась¹. На римскую волю московского купеческого сына откуда-то с Трубной площади.

— Сказка?

Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но, зная, что поэты их видят, заменял невиденные — выдуманными.

Не отсюда ли — от невозможности просто увидеть сон — грустная страсть к наркотикам?

¹ Поколение поэтов ведь та же Россия, и не худшая... (примеч. М. Цветаевой).

Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник 18-го века.) Может быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове не читала, — не из страха совпадения, из страха, в случае перехулы, собственного перехвала.) Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. (*Просвещенность, превращающаяся на Руси в чернокнижие.*)

Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества? Творима всеми поэтами.

...Und sind ihr ganzes Leben so allein...¹

(Рильке о поэтах)

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жизни — памятником. Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворением, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся: не долобить, не передать, не снизить.

Хотел бы я не быть Валерий Брюсов —

только доказательство, что всю жизнь свою он ничего иного не хотел. И вот, в 1922 г. пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничевоков, никудыков, наплеваков. Лучшие — отпали, отворотились. Подонки, к которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктом низости чуя — величие, оплевывали («не наш! хорош!»). Брюсов был один. Не один *над* (мечта честолюбца), один — *вне*.

«Хочу писать по-новому, — не могу!» Это признание я собственными ушами слышала в Москве, в 1920 г. с эстрады Большого зала Консерватории. (Об этом

¹ ...И всю свою жизнь они так одиноки... (нем.)

вечере — после.) *Не могу!* Брюсов, весь смысл которого был в «могу», Брюсов, который, наконец, не смог!

В этом возгласе был — волк. Не человек, а волк. Человек — Брюсов всегда на меня производил впечатление волка. Так долго — безнаказанного! С 1918 г. по 1922 г. — затравленного. Кем? Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему (умер месяц спустя) Блоку: «Да разве вы не видите, что вы мертвы? Вы мертвец! Вы смердите! В могилу!» Поэтической нечистью: кокаинистами, спекулянтами скандала и сахара, с которой он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался. Которой, подобострастно и жалобно, подавал — в передней своей квартиры — пальто.

Оттолкнуть друзей, соратников, *современников* Брюсов — смог. Час не был их. Дела привязанностей — через них он переступил. Но без этих, именующих себя «новой поэзией», он обойтись не смог: *их* был — час!

Страсть к славе. И это — Рим. Кто из уже названных — Бальмонт, Блок, Вячеслав, Сологуб — хотел славы? Бальмонт? Слишком влюблен в себя и мир. Блок? Эта сплошная совесть? Вячеслав? На тысячелетия перерос. Сологуб?

Не сяду в сани при луне, —
И никуда я не поеду!

Сологуб с его великолепным презрением?

Русский стремление к прижизненной славе считает либо презренным, либо смешным. Славолюбие: себялюбие. Славу русский поэт искони предоставляет воен-

ным и этой славе преклоняется. — А «Памятник» Пушкина?¹ Презрение — ничего другого. О славе же прижизненной:

Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца, —

важнейшую: количественную базу — славы. Не удержусь, чтобы не привести вопль лучшего русского поэта современности: «О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать!»

Вопль каждого поэта, особенно — русского, чем больше — тем громче. Только Брюсов один восхотел славы. Шепота за спиной: «Брюсов!», опущенных или вперенных глаз: «Брюсов!», похолодания руки в руке: «Брюсов!» Этот каменный гость был — славолюбцем. Не наше величие, для нас — смешное величие, скажи я это по-русски, звучало бы переводом *une petitesse qui ne manque pas de grandeur*².

«Первым был Брюсов, Анненский не был первым» (слова того же поэта). Да, несравненный поэт, вы правы: единственный не бывает первым. Первый, это ведь *степень*, последняя ступень лестницы, первая ступень которой — последний. Первый — условность, зависимость, в линии. Единственный — вне. У неповторимого нет второго.

Два рода поэзии.

¹ Есть и у Брюсова «Памятник». Кто читал — помнит (*при-меч. М. Цветаевой*).

² Малость, не лишенная величия (*фр.*).

Общее дело, творимое порознь.

(Творчество уединенных. Анненский.)

Частное дело, творимое совместно.

(Кружковщина. Брюсовский Институт.)

Одного порока у Брюсова не было: мелкости их. Все его пороки, с той же мелкости начиная, en grand¹. В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями.

Слава? Любовь к тебе — миллиардов. Власть? Перед тобой — миллиардов — страх.

Брюсов не славу любил, а власть.

У каждого — свой глагол, дающий его деяния. Брюсовский — домогаться.

Есть некая низость в том, чтобы раскрывать карты поэта так, перед всеми. Кружковщины нет (презрена!), круговая порука — есть. Судить о художнике могут — так, по крайней мере, принято думать и делать — все. Судить художника — утверждаю — только художники. Художник должен быть судим судом либо товарищеским, либо верховным, — собратьями по ремеслу или Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить мир тот — в мирах сил. Обыватель поэту, каков бы он в жизни ни был, — не судья. Его грехи — не твои. И его пороки уже предпочтены твоим добродетелям.

Avoir les rieurs de son côté² — вещь слишком легкая, эффект слишком грошовый. Я, de mon côté³, хочу иметь

¹ Масштабны (*фр.*).

² Поставить противника в смешное положение (*фр.*).

³ Со своей стороны (*фр.*).

не les rieurs¹, а les penseurs². И единственная цель этих записей — заставить *друзей* задуматься.

Цель прихода В. Я. Брюсова на землю — доказать людям, что может и чего не может, а главное все-таки, что может — воля.

Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое — смысловое: и воля — Рим, и вол — Рим, и волк — Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и волком — в поэзии, волком (*homo homini lupus est*³) в жизни. И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест в Риме — хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его — не встанет — в чем, если не в мраморе? — изваяние:

СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ
РИМ

II
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было 6 лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зограф-Плаксиной (старинный белый особнячок в Мерзляковском пер(еулке), на Никитской). В день, о котором я говорю, было мое первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки (первая в сборнике Леберт и Штарк), партнер — Евгения Яковлевна Брюсова, жем-

¹ Насмешники (*фр.*).

² Мыслители (*фр.*).

³ Человек человеку — волк (*лат.*).

чужина школы и моя любовь. Старшая ученица и младшая. Все музыкальные искусства пройденные — и белый лист. После триумфа (забавного свойства) иду к матери. Она в публике, с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, о детях, рассказ дамы о своем сыне Валерии (а у меня сестра была Валерия, поэтому запомнилось), «таком талантливом и увлекающемся», пишущем стихи и имеющем недоразумения с полицией. (Очевидно, студенческая история 98–99 гг.? Был ли в это время Брюсов студентом, и какие это были недоразумения — не знаю, рассказываю, как запомнилось.) Помню, мать соболезновала (стихам? ибо напасть не меньшая, чем недоразумения с полицией). Что-то о горячей молодежи. Мать соболезновала, другая мать жаловалась и хвалила. — «Такой талантливый и увлекающийся». — «Потому и увлекающийся, что талантливый». Беседа длилась. (Был антракт.) Обе матери жаловались и хвалили. Я слушала.

Полиция — зачем заниматься политикой — потому и увлекающийся.

Так я впервые встретила с звуком этого имени.

III ПИСЬМО

Первая заочная встреча — 6-ти лет, первая очная — 16-ти. Я покупала книги у Вольфа, на Кузнецком, — ростановского «Chanteclair'a»¹, которого не оказалось. Неполученная книга, за которой шел, это в 16 лет то же, что неполученное, до востребования, письмо: ждал — и нету, нес бы — пустота. Стою, уже ища замены, но Ростан — в 16 лет? нет, и сейчас в иные часы жизни — незаменим, стою уже не ища замены, как вдруг, за левым

¹ «Певец зари» (фр.).

плечом, где ангелу быть полагается, — отрывистый лай, никогда не слышанный, тотчас же узнанный:

— «Lettres de Femmes»¹ — Прево. «Fleurs du mal»² — Бодлера, и «Chanteclair'a», пожалуй, хотя я и не поклонник Ростана.

Подымаю глаза, удар в сердце: Брюсов!

Стою, уже найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, за такие минуты — и сейчас! — жизнь отдам. И Брюсов, настойчивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова: «Хотя я и не поклонник Ростана».

Сердце в горле — и дважды. Сам Брюсов! Брюсов Черной мессы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония! — И — не поклонник Ростана: Ростана — L'Aiglon³, Ростана — Мелизанды, Ростана — Романтизма!

Пока дочувствовывала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно — душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел. Вышла и я — не вслед, а навстречу: домой, писать ему письмо.

Дорогой Валерий Яковлевич,
(Восстанавливаю по памяти.)

Сегодня, в Магазине Вольфа, Вы, заказывая приказчику Chanteclair'a, добавили: «хотя я и не поклонник Ростана». И не раз утверждали, а дважды. Три вопроса:

Как могли Вы, поэт, объявлять о своей нелюбви к другому поэту — приказчику?

Второе: как можете Вы, написавший Ренату, не любить Ростана, написавшего Мелизанду?

Третье: — и как смогли предпочесть Ростану — Марсея Прево? Не подошла тогда же, в магазине, из

¹ «Письма женщины» (фр.).

² «Цветы зла» (фр.).

³ Орленка (фр.).

страха, что Вы примете это за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». На письмо же Вы вольны не ответить.

Марина Цветаева

Адреса — чтобы не облегчать ответа — не приложила. (Я была тогда в VI кл. гимназии, моя первая книга вышла лишь год спустя, Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно и, при желании, ответить мог.)

Дня через два, не ошибаюсь — на адрес Румянцевского Музея, директором которого состоял мой отец (жили мы в своем доме, в Трехпрудном) — закрытка. Не открытка — недостаточно внимательно, не письмо — внимательно слишком, *die goldene Mitte*¹, выход из положения — закрытка. (Брюсовское «не передать».)
Вскрываю:

«Милостивая Государыня, г-жа Цветаева»

(NB! Я ему — дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня старше лет на двадцать!)

Вступления не помню. Ответа на поэта и приказчика просто не было. Марсель Прево испарился. О Ростане же дословно следующее:

«Ростан прогрессивен в продвижении от XIX в. к XX в. и регрессивен от XX в. к нашим дням» (дело было в 1910 г.). «Ростана же я не полюбил, потому что мне не случилось его полюбить. *Ибо любовь — случайность*» (подчеркнуто).

Еще несколько слов, указывающих на желание не то встретиться, не то дальнейшей переписки, но явно, иначе бы запомнила. И — подпись.

На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!), не ответила.

Ибо любовь — случайность.

¹ Золотая середина (нем.).

Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами у друзей, в Москве.

Первое письмо осталось последним.

IV ДВА СТИШКА

Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет, — стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, — взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно.

Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, — всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл. По окончании печатания свезла все 500 книжек на склад, в богом забытый магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокоилась. Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы — не сделала бы: напрашиваться на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились — и благожелательные: большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьютты Шагинян (говорю о, для себя, ценных) и, наконец, заметка Брюсова. Вот что мне из нее запало:

«Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко, точно нечаянно заглянул в окно чужой квартиры...» (Я, мысленно: дóма, а не квартиры!)

Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влияний, о редкой для начинающего самобытности

тем и явления их — как незапомнившуюся в словах — опускаю. И, в конце: «Не скроем, однако, что бывают чувства более острые и мысли более нужные, чем:

Нет! ненавистна мне надменность фарисея!

Но, когда мы узнаём, что автору всего семнадцать лет, у нас опускаются руки»...

Для Брюсова такой подход был необычаен. С отзывом, повторяю, поздравляли. Я же, из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась: «Мысли более нужные и чувства более острые? Погоди же!»

Через год вышла моя вторая книга «Волшебный фонарь» (1912 г., затем перерыв по 1922 г., писала, но не печатала) — и в ней стишок —

В. Я. БРЮСОВУ

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, —
Не изменишь, всё равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Нужно петь, что всё темно,
Что над миром сны нависли...
— Так теперь заведено. —
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!¹

Словом, войска перешли границу. Такого-то числа, такого-то года я, никто, открывала военные действия против — Брюсова.

Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него Брюсова.

«Вторая книга г-жи Цветаевой „Волшебный фонарь“, к сожалению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха...» (ряд неприятностей,

¹ «Волшебный фонарь», с. 111 (примеч. М. Цветаевой).

которых я не помню, и, в конце:) «Чего же, впрочем можно ждать от поэта, который сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано».

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как его слова, были явлены без кавычек. Я получила — дурой. (Валерий Брюсов. «Далекие и близкие», книга критических статей.)

Рипост был мгновенный. Почти вслед за «Волшебным фонарем» мною был выпущен маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся «Из двух книг», и в этом сборнике, черным по белому:

В. Я. БРЮСОВУ

Я забыла, что сердце в Вас — только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти — критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом.

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, а после сна о нем, с Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения — конец его, и я бы на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой читатель (душ).

Отзыва, на сей раз, в печати не последовало, но «в горах» (его крутой души) «отзЫв» длился — всю жизнь.

Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в молодом опыте вражды значил для меня несравненно больше, чем я — в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов (твердая величина), меня не

любящий, я же для него — X, его не любящий и значущий только потому и тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых вообще презирал. Этого у меня к нему не было — презрения, ни тогда, на вершине его славы, ни спустя, под обломками ее. Знаю это по волнению, с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, сообщаемому нам только величием. Дерзала — да, дерзила — да, презирала — нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильнейшего во мне, чувства ранга. Словом, если перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости — раздражение. Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства — собственный максимум его) — в выигрыше была я.

V

«СЕМЬЯ ПОЭТОВ»

Той же зимой 1911 г. — 1912 г., между одним моим рифмованным выпадом и другим, меня куда-то пригласили читать — кажется, в «О-во Свободной Эстетики». (Должны были читать все молодые поэты Москвы.) Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно оглавляя — Брюсов. Вхожу и останавливаюсь, выжидая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тотчас же — Брюсовым.

Содержание

ГЕРОЙ ТРУДА	5
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ	76
ЖИВОЕ О ЖИВОМ	117
ПЛЕННЫЙ ДУХ	205
СЛОВО О БАЛЬМОНТЕ	276
НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР	290
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ	307